

## У НАС В ГОСТЯХ ПИСАТЕЛИ УЗБЕКИСТАНА

### АЛЕКСЕЙ УСТИМЕНКО **ДЕРВИШ, ДЕЛАЮЩИЙ ЧУДЕСА**

*«Мне сказали, что в азиатской части города,  
в одном из отдаленных и глухих его мест,  
куда европеец боится заглядывать,  
живет старик-дервиш, делающий чудеса».*

Василий Ян («Видения дурмана»)

Необъяснимо странной бывает писательская судьба...Прожить долгую жизнь, написать и издать книг, статей, очерков, почти научных исследований во множестве, и – остаться никому не известным литератором. А потом, почти что на самом склоне исчезающих лет, стать автором всего лишь еще трех книг («Чингиз-хан», «Батый», «К последнему морю» – **А.У.**), причем одной не законченной, и – прославиться не только в своей стране, но и далеко за ее границами. Литературной звездой первой величины засверкать на мировом писательском небосводе. Яркостью созданных образов умалить всю прежнюю яркость многих других образов, созданных далеко не самыми худшими историческими романистами...

Но как раз такова судьба Василия Григорьевича Яна из волынских шляхтичей рода Янчевецких. Писателя, так и не увидевшего собрания своих сочинений, – первое из них выйдет только лишь в 1989 году в Москве.

### ТРИЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ

21 августа 1934 года уже пожилой, весьма худощавый человек с легкими волосами, зачесанными набок, обмакнул деревянную ручку с конторским пером в белоголубую фарфоровую чернильницу, осторожно, дабы не насадить кляксу, склонился над столом и сделал очередную запись в дневниковую книжицу:

*«Чингиз-хана надо писать... – пламенно, точно сонетами, языком экстаза, небывальными сравнениями, где переплетаются и невероятный язык Востока, и образы, создаваемые миражами, и утонченный язык итальянского иезуита, автора «Хроник», которого послали с особой миссией разведать, что за армия дьяволов двинулась из глубин Центральной Азии».*

Это могло быть и совпадением. Это могло быть и случайностью. Но на самом деле, по-настоящему литературно значимой, предостерегающе великой в своей художественной правде и прозорливости, – стала его трилогия о грозном нашествии на Среднюю Азию и на Русь полчищ завоевателей. В пыли от копыт их низкорослых коней, в горьких пожарах ими разграбленных городов погибали мечущиеся, кричащие люди и молчаливо существующая в собственной самоценности древняя культура.

Погибали, но – не погибли... Поработали, но – не смогли удержать. А потом – и удержаться... Растворились, развеялись по чужому пространству. Обогатились, обогатили.

Время написания первой книги трилогии – веселое, еще не настораживающее никого время, крепнувшего в послевеймарской Германии черно-коричневого фашизма. Новых полчищ для новейшей истории. Однако время ее издания – 1939 год. Начало второй мировой войны.

## ЧИНГИЗ-ХАН ЕМУ СНИЛСЯ НОЧАМИ

Можно многое книжное написать и не стать нужным даже и одиноко читающим людям. Потому что во всем тобою написанном – пусть это будет сюжетная игра с тем же временем в фантастике, его полугазетное отражение в прозе о современности или в мастеровито-документальных реставрациях исторических реминисценций – ни самым малым живым отголоском не откликнулось само время. Твое. И твоих читателей. Да ведь и редко кому удается, даже в теме древнейших, в глубину лет запрятаных, но объясненных событий, услышать и понять свои дни...

Наступающий на него Чингиз-хан говорил с писателем Яном целыми днями, не отпуская. Его узкобородый образ, с тоненькими косичками вокруг прижатых к широкому черепу плоских ушей, упорно вглядывался в писателя даже и ночами.

Ян подбегал к столу, хватал карандаш и тонкими точными линиями, будто горящими стрелами к саманной стене, пригвождал этот образ к желтоватой плоскости бумаги. Так сам Чингиз-хан пригвождал покоренных, но не покоряющихся к разрушенным им же стенам...

Он должен был, прежде чем описать, увидеть всех этих людей...

Так появились рисунки и с образами не только хорезмшаха – знаменитого трусостью Мухаммеда Алла-эд-Дина, но и знаменитого смелостью Джелаль-эд-Дина.

А еще прежде – то рыбачка у моря, с напрасными ожиданиями, то пляшущие скифские амазонки, неотделенно – единою скифской симфонией – входящих, влияющих, *втанцовывающихся* в скользяще пляшущий вокруг них мир. В мир с его языческими истуканами, огнем прирученных костров и неприрученных сил земли, степи и леса. С его пьяными скифами, которых этой же ночью они сами возьмут к себе, чтобы потною горечью их жестких тел укрыться, как наброшенную от холода шкурой.

Пишущий, рождающий образы писательским воображением, Василий Ян настолько *овеществлял и материализовывал* всех их, что они легко – будто на средневековой фотографии – проявлялись на его графических рисунках. Билибинский стиль его акварельной графики ярк и детально убеждающ. Он дружил с Николаем Рерихом и кое-что от него перенял.

Несомненно, он и одевался щеголевато. Был и внешне похож на художника, каким, впрочем, и являлся: художником текста и – отраженно – художником графического образа. Его акварели – особенно азиатские – излучают желто-оранжевый цвет и ту испепеляющую жару, струящуюся от горячих стен, от которой не спрячешься ни в какую тень.

Возможно – носил блузу-толстовку, а уж бант или галстук-бабочку повязывал по-театральному пышно. Он должен был курить трубку. И не из любви к табачному дурману, но из-за ощущения некоего сопричастия через дым этой трубки к рождению, к материализации очередного, пусть пока и зеленовато-струящегося, прозрачно-дымного пока образа.

Он был хорошим художником, как был им и наш ташкентский «Ян» – писатель-историк Явдат Хасанович Ильясов, – я видел похожие акварели на стенах маленькой квартирки Ильясова, еще тогда не погибшего, в кирпично-скучном чиланзарском доме, со столь же скучной мемориальной доской на стене сегодня, тогда, впрочем, еще не существовавшей... Но об этом, возможно, как-нибудь в другой раз...

## ЛАТИНИСТ, ПОЖИМАЮЩИЙ РУКУ СЭРУ АРТУРУ КОНАН ДОЙЛУ

Для профессионального литератора Василия Яна тридцатые годы стали странными годами обостренного восприятия действительности, какого-то внутреннего, тревожного – истинно *писательского* – ощущения наползающих туч на пока еще чистое, безопасно высокое небо.

12 апреля 1942 года на страницах главной тогда газеты «Правда» было опубликовано Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о присуждении Сталинских премий в области литературы и искусства за 1941 год. Премия первой степени присуждена Янчевецкому Василию Григорьевичу (В. Яну) за роман «Чингиз-хан». И рядом – в передовой статье этого же номера – слова, лучше всего характеризующие творчество его последних лет:

*«...можно только приветствовать появление таких произведений, ...которые на исторических примерах воспитывают художественные вкусы и учат бороться за независимость, честь и свободу нашей родины так, как боролись славные наши предки...».*

В те дни уже подходил к концу шестой десяток прожитых им лет. Однако же и вместились в них многое. Очень многое...

И Ревельская гимназия, и Санкт-Петербургский университет.

И такая жажда познать жизнь не книжную, но исконно народную, необманчивую, что тяга эта вложила в мягкие руки многознающего юноши с тонким интеллигентным лицом посох неторопливого странника. И на целых два года увела его не в какую-нибудь вымышленную Тмутаракань, но в сказочно богатую суровыми и интереснейшими людскими судьбами бесконечную Россию. А лесные, пружинисто коричневой хвоей усыпанные дороги, а чащобные, прорванные корнями-корягами змеящиеся тропинки, а еще полевые просторы, чисто повыметенные мечущимися метелями, налитанные прозрачно-черными лужами, растоптанные и разъезженные блуждающими по горькой земле людскими, сделались его первым литературским кабинетом. Отныне он раз и навсегда становится странствующим дервишем. К тому же – все глубже и глубже погружающимся во время, оттого, что ничто другое, большее, никакая другая книжная историческая работа так реально не погружают в исчезнувшие века, как это делает всегда говорящая древним языком прошлого – впрочем, для большинства безмолвствующая – природа.

Эти два страннических года дали ему неповторимый материал для первой книги «Записки пешехода». И – отложились в его памяти еще многими темами и характерами, оживать которым суждено даже через десятилетия...

Пройдет некоторое время и – один за другим – в журналах и газетах он станет публиковать приключенческие и исторические рассказы. Их захлеб перечитывают российские гимназисты. Журналы с ними носят, заткнув за ременный пояс, рядом с учебниками по истории, географии и латинскому языку. Хвастаются тем, что знакомы с ним лично или, на крайний случай, – что видели его нынче утром на городском бульваре. Прогуливающимся, обдумывающим нечто этакое, наинovelшее...

Они тайно читали его рассказы на длинных – от колокольчика до колокольчика – занятиях. И суровый латинист, одергивая их, вызывал к доске и ставил заслуженный «неуд». Этим латинистом в Первой Санкт-Петербургской гимназии был все тот же, он сам, – Василий Янчевецкий.

Но не остался бы он самим собой, не оказался бы, наконец, и вечно странствующим дервишем, если б своей писательской дорогой выбрал городской прогулочный бульвар. А древнее мудрое слово – произносил бы с одной лишь кафедры.

К тому времени он уже исколесил на громоздком тяжелом велосипеде всю Южную Англию. Успел вдохнуть вековую пыль, осевшую на шуршащих листах книг, выдаваемых ему в круглом зале библиотеки Британского музея, книг в кожаных и даже деревянных переплетах, тяжелых, будто тот же самый громоздкий металлический велосипед. Успел он пожать руку и старшему своему коллеге сэру Артуру Конан Дойлу...

Все это было удивительно интересно, но все-таки оставалось немножко не тем, что манило давно, подспудно, необъяснимо.

## ОТ АСХАБАДА ДО ХИВЫ, ПОТОМ ДО КЫЗЫЛ-АРВАТА

Летний, жаркий, предгрозовый ветер заставлял его вставать даже ночью, открывать окно и вглядываться в черноту, набегающую с Востока. Туда, где, распластавшись на громадном пространстве среди снежно-каменных хребтов и ползущих песков, шуршащих непрерывно и усыпляюще, казалось, спала, ему пока не известная страна – Азия.

Еще и сегодня, в век широких шоссейных дорог, стремительных автомобилей и всеохватывающей радиосвязи всего в немногих, в нескольких километрах от Асхабада можно встретить тревожные указатели или услышать предупреждающее поскрипывание стариков в красно-черных полосатых халатах и в шапках-тельпеках, шерсть которых падает на предупреждающие глаза – дальше пути нет. Дальше ехать опасно... Безводье. Всепоглощающая пустыня. Попадаешь в эти места, вглядываешься в пепельно-сероватую глубину пересыпающихся барханов, и холодок – нет, не страха, но чего-то иного, мертвого, способного равнодушно поглотить живое, рискнувшее переступить порог песчаной беспредельности, – охватывает тебя...

Еще и сегодня... Еще и сегодня.

Но именно по этим местам как бы «...для осмотра годности караванных колодез» и как журналист – «без расходов от казны, с сохранением содержания» – в начале прошлого века рискнул проехать чиновник канцелярии начальника Закаспийской области Василий Янчевецкий. От тогдашнего Асхабада (таким было дореволюционное написание Ашхабада, ныне еще и – Ашгабата – **А.У.**) до Хивы. Потом до Кызыл-Арвата... Много позже – до Персии, Афганистана, едва ли не до Индии.

Да, Чингиз-хан ирреально снился ему ночами. Проснувшийся Ян торопливо вылавливал из памяти его портрет и – проявлял карандашом на бумаге, закрепляя в сознании образ того, кто зло смотрел на него через узкие щели монгольских глаз, кто сидел буквально напротив. Сидел, подогнув короткие и босые ноги совсем под себя, покачивая большим жилистым телом восточного живого божка. Сидел на толстой стопке из тщательно – до нежнейшей замши – выделанных верблюжьих кож. Тогда, во времена реального Чингиз-хана, они еще не лежали на глиняном возвышении – **супе**, – как много позже во дворце увиденного Янчевецким хивинского хана. Прежде это был походный трон другого истинно великого степного хана, и никому не дозволялось быть со скрипящей сухостью мягких замшевых кож даже просто рядом. Но теперь, получив эти кожи от своих предков, вытряхнув вековую пыль и возложив на глиняную супу, которая, конечно же, вовсе не походила на походный потник на спине несущегося по степи коня, хан Хивы воссел на них, принимая гостей в своих дворцовых покоях. Наверное, ему и вправду казалось, что он от этого тоже велик, и что его тоже запомнят. Не запомнили... Ведь и нечего было запоминать.

Разве, вот, только чуть-чуть по-своему, но все-таки оставил его в своей памяти все тот же путешествующий дервиш – Василий Янчевецкий, которому этот хан «соизволил дозволить» осмотр древних хивинских улиц. Вот уж, казалось бы, столько экзотики – Шехерезада, тысяча и одна ночь! – ему, любопытнейшему из европейцев, предстояло увидеть здесь, в Хиве, за границей холодных каракумских песков. А он...

*«Картины полуфеодалльной жизни народов Средней Азии, увиденные на рубеже двадцатого столетия, много лет спустя, дали пищу моему воображению, чтобы воскресить сцены жизни древнего Хорезма... Внешность эмира Бухарского помогла созданию облика Хорезм-шаха, посещение Хивинского ханства, островов прокаженных, путешествие через Кара-Кумы помогли изобразить эпизоды жизни и гибели Хорезма».*

То есть, – за всем этим убеждающе ясно проглядывалось то глубокое настоящее, что напрочь перечеркивало внешнюю экзотику яркого Востока, на которую еще и при его жизни, и много позже, – нет-нет да и сбивались иные авторы исторических произведений.

Кстати сказать: отчего это многих писателей так крепко тянет на эти острова прокаженных? Отчего это не минули подобного опасного искусства ни Роберт Льюис Стивенсон, ни Грэм Грин, ни, наконец, все тот же Василий Янчевецкий?..

Отчего? Ведь и так сказки почти не существовало. Существовала жизнь.

Хотя, может быть, как раз потому, что иногда эта жизнь приобретала нереально-фантастические формы в виде, например, полученной им награды от эмира Бухарского – «Ордена столичного города благородной Бухары»: из множества золотых лучей и золотых же письмен арабской вязью на фоне синей эмали в центре громадной звезды. Наверное, надо было стряхнуть с себя обманчивое оцепенение придуманной многозначительности: в серьезность подобных звезд верят лишь не обретшие смысла в жизни. А он был истинный дервиш, и знал ее, и был мудр...

С недопустимостью сказки, кстати, весьма им любимого жанра, или фактической недостоверности в историческом романе, Василий Янчевецкий выступал еще в своей повести об Александре Македонском «Огни на курганах», где Александр уже не был легендарно идеализированным героем, блистающим и удачливым, но оставался тем, чем являлся на самом деле – завоевателем. Жестоким разрушителем древнейших оазисов цивилизации, сделавший их кладбищами, засыпанными песком.

С несогласными Василий Янчевецкий всегда был готов включиться в самые разнообразнейшие споры по самым же разнообразнейшим темам. Считал, что божественная истина тогда особенно хороша для человека, когда она открыта именно им, когда его трудом и духовным поиском с нее счищается извращающая картину патина временных наслоений, домыслов, обобщений. Причем, именно счищающая, но ни в коем случае не нашлепывающая на историю новые мифы.

## **ЖИЗНЕННЫЕ ПРАВИЛА СКИТАЛЬЦА СОФЭРА-РАФА**

Он был писателем и путешественником, ученым-филологом, историком, латинистом, знатоком множества восточных языков. Человеком большого числа разнообразнейших профессий. Но все это ничуть не делало его эдаким рассеянным Паганелем. Он оставался подтянутым, сдержанным, отчасти даже педантичным исследователем жизни. Любил наделять своих героев мудрыми афоризмами и составлять правила на разные случаи жизни, следовал которым, конечно, и сам... Вот таким, например, как правила неторопливого искателя вечной правды, скитальца Софэра-Рафа:

*«1. Производительность. Создавайте только ценное и полезное, нужное людям. Если ты писатель, считай число написанных только хороших страниц.*

*2. Мемуары. Ты видел многое, что нужно, чтобы не угасло для потомства. Записывай изо дня в день свои воспоминания.*

*3. Радость ближнему. Торопись обрадовать ближнего реальной помощью или хотя бы бодрым словом.*

*4. Ты глаз общественности. Исполни точно, быстро и честно тебе порученное. Не пропускай своей обязанности.*

*5. Хронометр порядка дня. Выдерживай точно намеченное. В срок являйся, сделав – немедленно уходи.*

*6. Говори не о себе. Разговаривая, сообщай то, что интересно другим, не носись с собой, не рассказывай о себе.*

*7. Говори на языке других народов. Каждый день посвяти времени изучению, чтению и беседе на другом языке.*

*8. Изучай технику и механику. Не оставайся в области одной мысли. Практически, руками умей создать нужное.*

*9. Беседуй с детьми. Говори с детьми, заботься о них. Они лежат на твоей ответственности.*

10. Отвечай немедленно на письма.

11. Собирай великие мысли, затерявшиеся в потоке времени, классифицируй, записывай – они нужны людям.

12. Считай, сколько ты стоишь ежедневно, сколько расходуешь на себя – включая стоимость обеда.

13. Уходи в мир пятого измерения. Создавай новые образы, симфонии, картины, новые духовные ценности.

14. Зарабатывай. Реализуй свое трудолюбие, смекалку в реальные ценности.

15. Помимо творческой деятельности – работай всюду, где можешь пригодиться людям».

Впрочем, адресуя подобное правило многим другим, сам он, очевидно, отчасти – по причине переполненности многообразными литературными и житейскими делами, отчасти – из-за скромного несоотнесения самого себя с человеком, который «... видел многое, что нужно, чтобы не угасло для потомства», писать собственные мемуары долгое время отказывался. То есть, обращаясь к другим – не всегда успевал обратиться к себе, а уж тем более исполнить обращение. Входя в противоречие с самим собой, даже и на восьмом десятке лет, Василий Ян наотрез отказывался усаживаться за собственные мемуары. К тому же, до самых своих последних дней писательской жизни Василий Янчевецкий – Ян – в ответ на напоминание об этих возможных мемуарах легко отбивался неотразимым аргументом: он убежденно считал, что всякий писатель «до последней своей возможности» должен «создавать оригинальные художественные произведения, как плоды своей фантазии, а не писать мемуары».

Пункт тринадцатый – «Уходи в мир пятого измерения» – был, похоже, ему ближе всего...

## БЛАГОДАРЯ НАСТЫРНОСТИ МИХАИЛА

«Картины жизни и времени Василия Яна», которые все-таки однажды появились на литературный свет, обязаны рождением некоторых уникальных, хотя отчасти неровных, сумбурных и подчас клочковатых текстов, настырности сына его – Михаила, тоже хорошо усвоившего правила скитальца Софэра-Рафа: «... Записывай изо дня в день свои воспоминания».

В 1947-1948 г.г. они договорились так: «...отец рассказывал о пережитом, об ушедших в небытие людях и временах. Я наскоро конспектировал беседу, потом воссоставлял его рассказы. Обычно к следующей встрече я приносил перепечатанное на машинке то, что записывал в прошлый раз, и оставлял для просмотра отцу».

То есть все-таки дервиш вновь будто странствовал, отдавая им найденное всякому, кто готов был принять...

Таким образом противоречие было снято. Хотя, конечно, по гамбургскому счету противоречием оно никогда и не было, во всяком случае – внутренним. Ведь дневники-то он, Василий Янчевецкий, вел почти постоянно. А уж по-интеллигентски обязательные и подробнейшие письма ответно писал всегда. Даже и тем, кто подобного был едва ли достоин, да и оценить писательскую неповторимость присланного ему текста вряд ли бы смог.

Но – дервиш странствовал. Странствовал и на бумаге, странствовал и в миру...

Где он был по-настоящему дома, – Бог весть.

Причудливо переплетались в судьбе писателя Янчевецкого страны и города. Персия, Белуджистан, Манчжурия, Греция, Египет, Румыния, сибирская глубинка – Урянхай, Минусинск... Но почти всегда получалось так, – люди ли, он ли сам, его ли судьба, определенная жизненными случайностями, – но только что-то обязательно возвращало его в Среднюю Азию.

После первого путешествия – Асхабад – Хива – работал экономистом в Росбанке в Самарканде, печатался в ташкентских газетах...  
А потом...

## ЕЩЕ ОДИН АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Чтобы приблизиться к новому пониманию Востока, к пониманию как бы внутреннему, глубинному, без скользящего взгляда восторженного потребителя пыльной экзотики, в тридцатых годах Василий Ян «...на основе узбекской публикации» начинает переводить первую часть романа нынешнего узбекского литературного классика Абдулхамида Чулпана «Ночь и день». Рукопись обнаружена. Хранится в архивах. Однако – не довершена...

Наползшие тучи тридцатых сглотнули своей беспощадной темнотой переводимого им Чулпана.

Потом – в сороковые – неделя труднейшего пути (едва ли не точно такого, каким случался тот в мертвой пустыне) вновь на Восток – в эшелоне из Куйбышева в Ташкент с эвакуированными.

*«...Доехал я благополучно, но очень тяжело. Нет ничего ужаснее поезда, переполненного до отказа беженцами всех видов».*

Казалось бы, здесь, в Ташкенте, писать ему теперь да писать о любимом Востоке, благо, Восток этот, вот он, – за окном. И воркованием горлинок. И тяжелым шелестом громадных чинаровых листьев – каждый не меньше форматом, чем листы писчей бумаги, лежащей на столе. И переливным журчанием арычной воды. И резкими криками запряженных в арбы ишаков. И самими этими арбами, колеса которых – в человеческий рост... И еще так великолепно угадываемыми мягко змеящимися женскими фигурами, спрятанными под длинными платьями, а то и – несмотря на десятилетия всех раскрепостившей власти – под серую паранджой.

Да только писалось здесь совсем о другом. Совсе о противоположном. Об оставленной под сиренево-черным грозовым небом войны любимой России и о вечном страже ее – святом благоверном князе Александре Невском. Впрочем, и это великое имя – под пером Янчевецкого – зазвучало в другом контексте:

*«В корреспонденции ТАСС от 26 октября, при описании ожесточенного боя сталинградцев с наступающими немецко-фашистскими войсками упоминалось одно имя, прославленное в веках: «...на одном из участков Сталинградского фронта сражается рота автоматчиков, которой командует Александр Невский. Это девятнадцатилетний юноша, решительный, смелый командир, сочетая риск с точным расчетом, внезапно атакует врага и наносит ему сильные удары... Четыре раза был ранен А.Невский, но не покинул поле боя. Его знакомая бойцам фигура во время сражения появлялась в самых опасных местах... Таков же был 700 лет назад новгородский удалой богатырь, князь Александр, прославивший на Неве и Чудском озере победами свое юное имя... Только впоследствии (в XV-XVI веках) при его «приобщении к лику Святых» он был канонизирован православной церковью, как «Невский». При жизни он так не назывался. Современники называли его «Беспокойным» – уж очень он за родную землю «беспокоился», и говорили, что князь очень «сечу любит», то есть «сечет» (рубит) врагов».*

## ОТСТАИВАНИЕ ФАНТАСМАГОРИЙ

Даже глубоко не вчитываясь в правила Софэра-Рафа, легко ощутить, что за их внешне явной, видимой догматикой невидимо сокрыто главное: правила поведения просто порядочного человека. Человека, правильно понимающего мир настоящий, естественный, а вовсе не тот, что во все времена навязывался человечеству газетно-

выдвигаемыми образами вождей и – по сути – ничего не значащими словами этих самых вождей, словами, годными разве что для сиюминутного употребления. Будто разовые шприцы для вечно существующей человеческой пандемии: умения не жить, но мечтать о жизни в великом, обманчиво как будто бы приближающемся земном счастливым и великом будущем, или – в другом, потустороннем, лучшем, воскрешающем...

Увы, действительно приближающимся ко всем нам и, увы, стремительно быстро.

Так вдруг однажды – уже в пятидесятые – предельно близко приблизилась к Василию Янчевецкому смерть странно талантливого писателя Сигизмунда Кржижановского, не писавшего новых книг все последние десять лет своей жизни. Не писавшего в первую очередь оттого, что советская власть, аллергически воспринимавшая все неординарно талантливое и непохоже мыслящее, самодовольно и самодостаточно отсиживаясь за рогатками неглупой цензуры, тонко понимающей и мгновенно реагирующей на опасность всего непохожего, неподотчетного, всякие там, не ко времени вдруг возникавшие фантазмагии Кржижановского, просто-напросто отказывалась публиковать...

Кржижановский умер колючей, остро морозной зимою 1950 года. Умер неслышно и тихо. И провожающих, уткнувшихся носами в поднятые воротники пальто, оказалось столь мало, к тому же, этому похоронному событию они придавали столь камерное семейное значение, что потом никто из них даже не смог припомнить, а на каком, собственно, кладбище они похоронили этого невостребованного писателя Кржижановского? Если учесть, что всякие похороны писателя – это во многом последняя, главная и завершающая рецензия на все его творчество, то морозные московские похороны Сигизмунда Доминиковича были до обидного несправедливы.

И здесь уже даже и не скиталец Софэр-Раф, но именно просто порядочный человек Василий Янчевецкий, не способный терпеть всякую, в том числе и литературную несправедливость, взялся отстаивать имя талантливейшего писателя Кржижановского не перед кем-нибудь, но – пожалуй что – и перед потомками.

Из письма Василия Яна Анне Гавриловне Бовшек, вдове Кржижановского:

*«Теперь я думаю о том, что надо сделать, чтобы его труды, мысли и литературные фантазии сохранились для вечности, для потомков, чтобы через них сохранилась и сама личность Сигизмунда Доминиковича... Я надеюсь, что придет время, когда будут разыскиваться выдающиеся произведения XX столетия, особенно покойных авторов, может быть, недостаточно оцененных современниками... Я верю в сказки и люблю их, как их любил и наш покойный друг. И поэтому я уверен, что мы с Вами найдем средства для перепечатки трудов Сигизмунда Доминиковича и увидим их напечатанными в «Полном собрании сочинений С.Д. Кржижановского».*

На мгновение ему показалось, что он может стать не просто дервишем, но дервишем, делающим чудеса. Вполне очевидно, что когда писалось это письмо, то была уверенность, что и он, как герой его же рассказа «Видения дурмана», сможет воскресить труды и дни писателя Кржижановского. Ведь смог же он воскресить, вызволив в реальность из небытия, рыжеволосого Чингиз-хана и философски воюющего хорезмийца Джелаль-эд-Дина, полководцев – Джебе-Найона и двух Александров – Македонского и Невского. Так что – что там! – всего лишь недавно умерший современник...

Не случилось. Первое, более или менее приемлемое для читателей «избранное» Сигизмунда Кржижановского вышло в свет без малого лишь через сорок лет после смерти автора, да и вдовы, да и самого Василия Янчевецкого тоже.

Даже дервиши, находящиеся в постоянной связи с потусторонними тенями, не в силах противостоять теням посюстороннего государства.



## ВОСКРЕШЕНИЕ ГЛАВНОГО

Тем не менее, «Видения дурмана» я бы прочел как метафору трудов и дней самого писателя Василия Григорьевича Янчевецкого, Василия Яна.

Герой рассказа, ностальгически решивший воскресить лучшее из того, что он пережил, видел, и лучших – из тех, с кем он был жизненно знаком и неминуемо встречался, вдруг ничего этого не получает. Дервиш, делающий чудеса, воскрешает перед героем-автором всего один – не сразу даже вспоминаемый – образ. Образ девушки, с которой тот в своей жизни мимолетно встречался всего один раз в мгновениях всего лишь одного танца, сблизившего их на минуты в один-единственный влажно-зимний вечер, кажется, Санкт-Петербурга. История, не имеющая продолжения – она умерла через несколько дней, простудившись в тот самый вечер. Вечер их единственной общей встречи. Он как будто бы и не вспоминал ее, ведь он и не видел ее больше. Она просто исчезла. Растворилась во внешней жизни силуэтом, размытым мокрой метелью... А только оказалось: в ней – в минутах ее пребывания с ним рядом, в легкой теплоте ее спины, ощутимой в единственном танце – было сконцентрировано все главное счастье его жизни. А значит – и ее смысл.

Писатель Василий Янчевецкий написал более 17 романов и повестей, свыше 40 рассказов, 32 пьесы, 13 сценариев и либретто... А только – воскресил их дурманящий всех нас своею памятью тот самый дервиш, некогда живущий в старом, старинном и любимом Яном Ташкенте – воскреснут всего лишь три книги, одна из которых, к тому же, и не дописана: «Чингиз-хан», «Батый», «К последнему морю».

## ФАРФОРОВАЯ ЧЕРНИЛЬНИЦА И СТАЛЬНОЕ ПЕРО В ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКЕ

Последнюю книгу знаменитой трилогии о нашествии монголов он продолжал писать в Ташкенте.

Надо было спешить. Надо было успеть узнать и полюбить Азию еще и совсем теперь иною, не дремотной, средневековой, а нынешней, с бьющимся индустриальным сердцем. Предстояли поездки и на «Чирчикстрой», и на «Фархадстрой» – поручение газеты «Кызыл Узбекистон» («Красный Узбекистан»); газетной поденщиной, даже уже став писателем-лауреатом – Василием Яном, истинный литератор – Василий Янчевецкий не пренебрегал. Дервиш не выбирает дорогу, дервиш идет по той, которая выстилается под ногами.

Как жил, вообще?

Трудно. Тревожно.

В мае 1994 года республиканская газета «Правда Востока» под претенциозным названием «Война и ...сирень» опубликовала подборку писем к отцу ташкентской журналистки Натальи Шулепиной, находящемуся тогда на фронте. Письма эти писала никому не известная девушка – Лиля Орловская. В них оказалось и несколько живых строчек и о писателе Янчевецком ташкентского военного времени:

«16 / XI – 44.

*Пришла домой – на столе письмо от вас. Обрадовалась ему самым глупым образом. Вы хотите знать, как я живу? Очень однообразно, каждый день в школе. Я работаю в двух местах, да еще председатель месткома. Весь день занята. Бывают «окошки» – как сын учительницы, вы должны помнить, что это значит, – тогда пишу стихи. Почти нигде не бываю, только у писателя Яна, с которым дружу, и очень редко хожу в кино. А в театре всю войну не была.*

30 / XII – 44.

*...Я немного осиротела – уехали мои друзья: писатель Ян-Янчевецкий с женой. Они меня любили. Ему 70 лет. Он лауреат Сталинской премии I степени, получил за*